

ЗАПИСИ И ЗАМЕТКИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ

Предисловие А. К. Бабореко

В Парижском архиве Бунина сохранился ряд фрагментарных записей и заметок писателя — своего рода заготовки для будущих работ.

Часть этих записей носит автобиографический характер и так или иначе связана с работой над «Жизнью Арсеньева». Некоторые из них, опубликованные посмертно, вошли в Собр. соч. 1965—1967 под условными названиями — «Из записей», «Записи», «Заметки» (т. 9, стр. 336—367); другие, например, «Отрывок», опубликованы самим Буниным и включены в состав ранних редакций «Жизни Арсеньева» (там же, т. 6, стр. 305—307). К этим материалам непосредственно примыкают публикуемые ниже «Безымянные записки», «Книга моей жизни», «Дни и годы. Скитания». Заключенные в них мысли о творческом восприятии жизни имеют первостепенное значение.

Две первые из названных записей принадлежат к числу самых ранних набросков, отражающих творческие раздумья Бунина, которые нашли свое частичное выражение в «Жизни Арсеньева». Публикуя их в 1966 г., Л. Ф. Зуров писал: «Все убеждены, что И. А. Бунин начал писать „Жизнь Арсеньева“ в Грассе, в 1927 году, но первые наброски романа, которые я, разбирая архив Ивана Алексеевича, недавно обнаружил, были написаны в Париже в 1921 году. Эти автографы озаглавлены „Безымянные записки“ и „Книга моей жизни“. В 1926 году И. А. Бунин использовал часть страниц „Книги моей жизни“, создавая рассказ „Цикады“ (в 1951 году он его назвал „Ночь“), который органически связан с романом „Жизнь Арсеньева“».

Зуров исключил из опубликованного текста места, взятые Буниным для рассказа «Цикады», обозначив пропуски многоточием. Но и в сокращенном виде остается много совпадений с рассказом, что как будто позволяет сблизить «Книгу моей жизни» в большей мере с «Цикадами», чем с «Жизнью Арсеньева». Но некоторые фразы записок можно найти и в «Жизни Арсеньева» — как в ее окончательной редакции, так и в главах, впоследствии исключенных Буниным (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 305—307). Но мнение Л. Ф. Зурова, отнесенного на основании найденных им записей начало работы над этим романом к 1921 г., представляется нам ошибочным. Оно противоречит и сообщению В. Н. Буниной: «Начал он „Жизнь Арсеньева“ летом 1927 года, в Грассе» (журн. «Москва», 1961, № 7, стр. 146—147).

Заметки «Дни и годы. Скитания», также связанные с работой Бунина над романом, относятся, по-видимому, к началу 1930-х годов. Публикуя их под условным названием «Записи», Л. Ф. Зуров сообщает: «Лист с этими записями находится среди автографов, на которых Бунин сделал пометку: „Жизнь Арсеньева“. Эти записи и выписки из Библии были предназначены для работы над последней частью романа. Продолжение „Жизни Арсеньева“, как известно, написано не было».

Страницы из «Записной книжки» были опубликованы в 1927 г. самим Буниным. По содержанию и стилю они примыкают к мемуарным заметкам, которые были включены в Собр. соч. 1934—1936 (т. I), а затем вошли в Собр. соч. 1965—1967 («Из записей» — т. 9, стр. 270—298).

Особое место среди записей Бунина занимают недатированные заметки, опубликованные посмертно также под условным заглавием «Записи». Это восемь самостоятельных фрагментов-зарисовок, объединенных общей темой смерти. Возможно, что Бунин предполагал развить их в самостоятельные произведения. Вполне вероятно, что первый из этих фрагментов — размышления над могилой Мопассана — послужил исходным моментом для статьи «Конец Мопассана», написанной в 1927 г. (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 459—467).

Следующий ряд фрагментарных записей объединен общим заглавием («Крым»). Они представляют значительный интерес для изучения творческой лаборатории Бунина. Это наброски неосуществленного рассказа, в которых вполне завершенные отрывки перемежаются со сжатыми конспективными записями, требующими дальнейшей обработки.

И наконец, «Происхождение моих рассказов» является продолжением аналогичных записей, вошедших в Собр. соч. 1965—1967 (т. 9, стр. 368—373). Печатаются они по автографу, переданному в 1960 г. В. Н. Буниной в Советский Союз.

«Безымянные записки», «Книга моей жизни», «Дни и годы. Скитания», из «Записной книжки» — публикация А. К. Б а б о р е к о. (Из записей), («Записи»), «Крым», «Происхождение моих рассказов» — публикация «Литературного наследства».

БЕЗЫМЯННЫЕ ЗАПИСКИ

Осень 1921 г. Париж

Не может не вскрикнуть почувствовавший боль, восторг или удивление: что ему до того, что вскрикивали уже тысячи других!

Индийское изречение

Книга моей жизни — ах, этот высокий стиль, эта нищета человеческих слов, столь нестерпимая особенно для нас, людей слова, измученных бесплодной борьбой с ним до того, что лучшие, искуснейшие между нами чувствуют себя почти бессловными! — Книга моей жизни есть книга без начала и конца; кроме того, ей, которая даже и теперь, несмотря на ее некоторые преимущества перед другими, так мало нужна миру, предстоит в самом недалеком будущем сдача в архив, тлен и забвенье: вот наиболее роковые знаки, под которыми я жил всю жизнь. Хорошо знаю, что они участь общая. Но я всегда чувствовал и чувствую их гораздо сильнее, чем многие другие, — не по этой ли причине, кстати сказать, и стал я писателем, художником?

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1966 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

КНИГА МОЕЙ ЖИЗНИ

Ноябрь, 1921 г.

«Не может не вскрикнуть почувствовавший боль, восторг или удивление: что ему до того, что вскрикивали уже тысячи других?»

Это сказано кем-то, умершим тридцать веков тому назад, но чем я отличаюсь от сказавшего это? Умерли люди, написавшие книги о своем земном существовании, но что мне до того? Во все времена и века, с детства до могилы томит каждого из нас неотступное желание говорить о себе — вот бы в слове и хотя бы в малой доле запечатлеть свою жизнь — и вот первое, что должен я засвидетельствовать о своей жизни: это нерасторжимо связанную с нею и полную глубокого значения потребность выразить и продлить себя на земле.



БУНИН

Фотография. Париж, 1921
 С пометой Бунина: «1921 г.»
 Литературный музей, Москва

И еще сказано в том же древнем писании: — «Книги наших жизней легко смешать. Не важно имя, которым условились называть меня в моем селении: когда я прохожу по другому селению, все думают только то, что идет человек. И когда я говорю о моей жизни, я непременно говорю и о твоей. Я не могу не искать сочувствия у тебя в моей боли, грусти или радости. Но ведь и ты не можешь. Подумай же, что это значит».

Да, пусть подумает это всякий читающий эти строки в этот и будущий день, когда даже имя мое исчезнет из людской памяти.

Как у всех, моя жизнь есть нечто, не имеющее начала и конца, есть книга, обреченная на тлен и забвение в самом недалеком будущем. И вот второе — столь тесно связанное с первым, — что надо сказать прежде всего. Постоянное сознание или ощущение этого ужаса преследует меня чуть не с младенчества, под этим роковым знаком я живу весь век. Хорошо знаю, что такой знак есть участь общая. Но мне кажется, что я всегда чувствовал и чувствую его гораздо сильнее, чем многие другие.

Я прожил почти полвека. Но мне когда-то сказали это — то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, — а следовательно, и счета прожитых мною лет, — но даже и того, что я существую в силу именно рождения. Да и вообще странна основа моей жизни: стоит мне мало-мальски задуматься над этой жизнью — тотчас же непонимание, ничем не разрешающееся удивление. Это как когда смотришься в зеркало: что это такое, кто это такой, кто это такой, которого я вижу, который есть я и о котором я думаю, и кто собственно на кого смотрит? Опасное занятие, с ума можно сойти.

Полагают, что лишь человек дивится своему собственному существованию и что в этом его главное отличие от прочих темных существ, которые еще в раю, в неведении, в недумании о себе. Если так, отличие немалое. Надо только прибавить, что и люди отличаются друг от друга —

степенью, мерой этого удивления. Что до меня, то повторяю: я отмечен этим свойством очень явственно.

Рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я. <...>*

Да, Книга моей жизни — книга без всякого начала, если, конечно, не успокоиться на церковной записи, что мое существование началось полвека тому назад, на рассвете одного из бесчисленных дней, которые были и будут на земле. Но она и без конца, потому что, не понимая своего начала, не чувствуя его, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы никакого представления и знания, родившись и живя где-нибудь на совершенно необитаемом острове. Я весь век под страшным знаком смерти, я несказанно боюсь ее. <...>

Очень зыбки мои представления времени, пространства.

Меня, по некоторым причинам, выделили из множества прочих людей. Выделили мои умственные способности, воображение, память, восприимчивость, умение высказывать себя. Что ж, хотя жизнь моя есть почти сплошное и мучительнейшее сознание слабости и ничтожества только что перечисленных сил моих, я, по сравнению с многими, и впрямь выделяюсь в некоторых отношениях. И поэтому, то есть по причине того, что я не совсем обычный человек, мои представления времени, пространства и ощущение себя самого зыбки особенно. Да и не могут быть иными — как у всех людей моего разряда.

Что это за люди? Это те, которых называют поэтами, художниками, созерцателями, творцами. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, не только свою страну, но и другие, не только себя самого, но и прочих людей <...>.

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое; ибо он не может не быть то тем, то другим, должен испытывать то восторг, то отчаяние, должен острее других чувствовать и тот океан, которого он есть волна, чувствовать связь волн — и рождение, жизнь отдельной волны, обреченной на гибель, на слияние. <...>

Тысячи верст отделяют великий город, где мне суждено писать эти строки, от тех русских полей, где я родился, рос. И обычно у меня такое чувство, что поля эти где-то бесконечно далеко, а дни, которые считаются моими первыми днями, были бесконечно давно. Но стоит мне хотя немного наперечь мысль, как время и пространство начинают таять, сокращаться. И так ведь и было всегда.

Не раз испытал я нечто поистине чудесное. Не раз случалось: я возвращаюсь из какого-нибудь далекого путешествия, возвращаюсь в те степи, на те дороги, где я некогда был ребенком, мальчиком, — и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною, как не бывало. Я чувствую, что это совсем не воспоминание прошлого: нет, просто я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому полевому воздуху, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии и их и всего мира, как это было вот здесь, вот на этом проселке в дни моего детства, отрочества... Нет слов передать всю боль и радость этих минут, все горькое счастье, всю печаль и нежность их!

* Здесь и ниже обозначены пропуски, сделанные Л. Ф. Зуровым (см. предисловие к настоящей публикации). — Ред.

В такие минуты не раз думал я: каждый цвет, каждый запах, каждый миг того, чем я жил здесь некогда, оставляли, отпечатлевали свой несказанно таинственный след. <...>

Не раз чувствовал я себя не только прежним собою — ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром; в свой срок кто-то должен и будет чувствовать себя — мною.

Я думал и думаю: богатство таланта, знание — что это, как не богатство того, что я назвал отпечатками, как не та или иная чувствительность их и количество их проявлений в луче того солнца, что откуда-то падает на них то ярче, то бледнее, в ту или иную минуту? <...>

Все они и ум навеки померкнут, погибнут в могиле, в той последней тьме, куда отойдешь ты в свой день. Но разве не казалось тебе, что и при жизни мириады их уже погибли, утратили способность оживать, проявляться, и разве ты не ошибался? И где грань между тьмой могильной и той, в которой и при жизни таится твоя младенческая, детская, юношеская жизнь, жизнь, лишь в редкие мгновения озаряемая, оживающая?

Все же бесконечна и невыразима боль, тоска и нежность этих мгновений. Вот я чувствую воскресшее детство, отрочество, молодость, до жуткости чувствую телесность этого воскресения: но откуда же тогда и другое — чувство все-таки утраты, разлуки, потери? Что такое моя нежность — и вообще нежность — как не жалость, не сожаление? Этот прежний я, которым я опять стал, все-таки он бесконечно далек и бесплотен. И нет тех зримых дней — зримых так, как я вижу сейчас эту бумагу, — что когда-то давали мне свет, лазурь, запах, радость, нет — и никогда не будет! — уже многих, многих, деливших со мной эти дни, тех любимых, милых, для которых как будто — только как будто для них! — и жил я в этом земном мире. Услышьте меня, ушедшие и до могилы незабвенные! Но отклика нет — и не будет.

Вспоминаю недавний день, на рассвете которого мне исполнилось сорок девять лет. По случайности или потому, что во сне все-таки теплилось во мне сознание, ощущение времени, условного деления и названия его, я проснулся в тот день как раз на рассвете. Нынче я родился, подумал я, и мне сорок девять лет. Ах, как страшна и велика казалась когда-то подобная цифра! Казалось когда-то, что это какое-то особое, почти страшное существо — человек, проживший пятьдесят, сорок, даже тридцать лет, какой-то директор гимназии, учитель с его очками, бородой и запахом табаку от фрака с золотыми пуговицами. И вот таким существом стал я сам. Что же я такое, сказал я себе, чем именно я стал теперь? И, сделав маленькое усилие воли, мгновение подумав о себе, как о другом, — как дивно, что мы можем это! — я вполне живо ощутил, что я и теперь все тот же, почти все тот же, чем был и в десять и в двадцать лет.

Я жажег электричество, взглянул в зеркало: только некоторая сухость и определенность черт, серебристый налет на висках, несколько поблекший цвет глаз да многая душевная опытность отличают меня от прежнего — только это. И я особенно легко встал с постели, поймав ногами туфли, накинул шелковый халатик — необыкновенно люблю шелк! — и вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно приближающийся день, слабо и таинственно разделивший по середине, на уровне моей груди, их полутьму. Сладкая рассветная тишина покоилась еще и во всем том огромном человеческом гнезде, окружавшем меня, которое называется одной из вечных столиц мира. Молчаливо и как-то по иному, чем днем, стояли многочисленные дома, полные спящих сверху донизу, молчаливые и

пустые, еще чистые улицы лежали подо мной, но уже зелено горели городские огни в их прозрачном сумраке. И вдруг, взглянув на этот сумрак, уловив в нем рождение нового дня, я опять испытал то непередаваемое чувство, которое всю жизнь неизменно испытывал я, случайно проснувшись на ранней утренней заре...

Нет, это только ничего не значущая случайность — то, что мне суждено жить не во дни Христа, Тиверия, не в Иудее, не на острове Кипре, а в так называемой Франции, в так называемом двадцатом веке. За всю долгую жизнь с ее бумагами, чтением книг, странствиями и мечтами я так убедил себя, будто я знаю и представляю себе огромные пространства места и времени, столько я жил в воображении чужими и далекими мирами, что мне все кажется, что я был всегда, во веки веков и всюду. А где грань между моей действительностью и моим воображением, которое есть ведь тоже действительность, тоже жизнь?

Печаль пространства, времени, формы преследуют меня всю жизнь. И всю жизнь, сознательно и бессознательно, то и дело я преодолеваю их. Но на радость ли? И да — и нет.

Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе. Но зачем? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, свое я, свое время, свое пространство, — или затем, чтобы, напротив, утвердить себя, обогатившись и усилившись чужим?..

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1966 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

ДНИ И ГОДЫ. СКИТАНИЯ

Lassus maris et viarum

Vita scribi nequit.

Das Ewige in Menschen,

Das Menschliche in der Ewigkeit.

Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag*.

Ничто не определяет нас так, как род наших воспоминаний.

Анна — хотя в Одессе, где я знал ее девушкой, звали ее Матильдой — Анна Ильинична, в девичестве Денисевич, вторая жена Андреева, жила осенью 39-го года в Грассе, недалеко от нас, и часто ходила к нам. Говорила, что живя с ним десять лет, целых десять лет не спала: он по ночам или диктовал ей или просто не давал спать — без конца говорил.

Я встретил его в первый раз зимним вечером в буфете Художественного театра, во время антракта. Увидел в толпе возле буфетной стойки знакомого журналиста, Алексеевского, впоследствии его зятя, и черного молодого человека в сюртуке, который что-то живо говорил, держа в руке рюмку водки. Алексеевский сказал мне:

— Позвольте представить — мой приятель Леонид Николаевич Андреев.

* Уставший от моря и дороги / Не может описать свою жизнь (лат.). Вечное в человеке, / Человеческое в вечности (нем.). К новым берегам манит новый день (нем.).

Тот быстро поставил рюмку на стойку и с готовностью тиснул мне руку цепкой смуглой рукой:

— Чрезвычайно рад!

Во взгляде, которым он блеснул на меня, было сразу несколько выражений: зоркое любопытство, что-то хитрое, веселое и что-то слегка грустное, что-то будто искреннее и деланное и какая-то мысль о чем-то своем, тайном, которая так и осталась в нем во все время нашего дальнейшего разговора, сразу завязавшегося с легкостью и шутливостью. Впоследствии эту мысль о чем-то своем, тайном я видел в нем почти постоянно.

И во всем был у него в тот вечер черный блеск: в хитрых черных глазах, в довольно длинных, закинутых назад волосах, в щеголеватых тонких усиках, в сюртучке с атласными лацканами, в лакированных ботинках. И во всем — нечто легкое и приятное — еще молодая сухощавость и студенческая готовность на быструю дружбу, на приятельство.

«Изыде от земли твоя, и от рода твоего, и от дома отца твоего».

«И пошел, не зная, куда идет... Обитал на земле полученной, как на чужой... ибо ожидал города, коего художник и строитель — бог... все сии (подобные) говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного: ибо бог предусмотрел о нас нечто лучшее...»

«Пришелец аз есмь на земле». Пс. 118.

«Отдался течению дней».

Как все было ничтожно, *случайно*, как быстро прошло! Революции, войны, зверства.

В ту зиму (после ее бегства, перед Москвой) осмотрел свой край — страшные картины! Елец, Огневка, Бабарыкино (сумерки волчьи), мужицкие избы, у Софьи (тепло, вонь), у Арсика, у Цвиленева, у Рыпковых, у «Волка», у Баева...

«Все воды твои и волны твои прошли надо мною...»

Итак, было, будто бы было время, когда я еще только всходил на корабль: «Итак, ты взшел на корабль, совершил плавание, достиг гавани — время сходить».

Целая жизнь прошла с тех пор.

«Чего еще ждать мне, господи?»

«Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою». И не только перед тобою, но и передо мной самим. Так где же время?

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1967 г. Нью-Йорке. Печатаются по этой публикации.

〈ИЗ ЗАПИСЕЙ〉

«Родиться, жить и умереть в одном и том же доме». А сколько домов переменял я на своем веку? И чего еще не знаю, не видел на земле? «Пора сходить». Но ведь это значит навсегда расстаться с этой землей, на которой родился, рос, проводил дни и ночи, без конца видел смену восходов и закатов... Навсегда лишиться чувства какой-то «бесконечности», с которой жил всю жизнь... чувства того, что я весь век называл богом и своим я, в котором несомненно Он — кто же иной, что же иное — то живущее, само себя сознающее — вот то, что час тому назад выходило на балкон, на эту несущуюся бурю, смотрело в бездну вверх, полную

пылающих от мистралья звезд и почему-то перекрестилось на них — перед кем? — и, как всегда, стремилось в их невообразимой области к душам всех исчезнувших из моей жизни.

Сходить — это значит никогда больше не быть мыслью в тех днях, когда кто-то писал под шатром в стране Квадов, столь еще близких к рождению, к жизни Христа... Никогда больше не читать Евангелия, не слушать органа в холодной и великой пустыне древнего собора, в его полутьме, дивно и жутко цветущей в запрестольной высоте индиго и пурпуром... Не глядеть на снега Бреннера, не качаться под мерные толчки гондолы по сырым и зловонным, вечно пленительным каналам мертвой в своей вечной весне Венеции...

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1964 г. в Нью-Йорке. Печатается по этой публикации.

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

Удивительно предсказал Боратынский в одном своем стихотворении:

«И будет Фофанов писать...»

А еще удивительнее предсказал Гете: «Будет поэзия без поэзии, где все будет заключаться в делании: будет мануфактур-поэзия».

Изумительна моя судьба. Нужно же было мне родиться в такое время! Взять хотя бы литературу: ведь на моих глазах началась и длится ее позорная гибель, превращение ее в самый бесстыдный и отвратительный балаган...

Талант талантом, а все-таки «всякая сосна своему бору шумит». А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?

Деды и отцы наши, начавшие и прославившие русскую литературу, не все же, конечно, «по теплым водам ездили, меняли людей на собак» да «гуляли с книжками Парни в своих парках, среди искусственных гротов и статуй с отбитыми носами», как это многим кажется теперь. Они знали свой народ, они не могли не знать его, весь век живя с ним в кровной близости, и не имели нужды быть корыстными и несвободными в своих изображениях его, как недурно доказали это, например, Пушкин, Лермонтов, Толстой и многие прочие.

А потом что было? А потом «порвалась цепь великая», пришел «разночинец», во-первых, гораздо менее талантливый, чем его предшественник, а во-вторых, угрюмый, обиженный, пьющий горькую (посчитайте-ка всех этих Левитовых, Орфановых, Николаев Успенских) и вдобавок сугубо тенденциозный (пусть с благими целями, но тенденциозный), да еще находившийся в полной зависимости от направления своего журнала, от идеологии своего кружка, от обязанности во что бы то ни стало быть «гражданином», от милости Скабичевских. А потом количество пишущих, количество профессионалов, а не прирожденных художников, количество *поддальвающихся под искусство* все растет и растет, и читатель питается уже мастеровщиной, либеральной лживостью, обязательным народолобием, пошлейшим трафаретом: если лошадь, то непременно «россинант» или «лукавая пристяжная», если уездный город, то непременно свинья в грязи среди площадки да герань в окне, если комод, то обязательно «пузатый», если помещик, то уж, конечно, крепостник, зверь, если деревня, то только «лохматые избенки, жмущиеся друг к другу и как-то боязливо взирающие на проезжего», если «огоньки», то

не иначе, как символические ... и, бог мой, сколько легенд о жестокостях крепостного права или о Стеньке Разине!

Златовратский... Интереснейшая фигура!

Сколько лет этот самый Златовратский был чуть не для всей интеллигенции истинно Иверской! Он искренно мнил себя великим знатоком народа (его самых основных «устоев», глубины его души и «золотых сердец», его «извечных чаяний», его «подоплеки», его языка, его быта). Он считал себя замечательным писателем, таким, что то и дело хмурило и презрительно трунил над Толстым, а если хвалил, то тоже как-то свысока, небрежно. Что Толстой! Он считал, что он и сам мудрец, в некоторых отношениях даже почище Толстого: «Да, талант, но и чепухи в голове немало», — нередко говорил он про Толстого, по своему обыкновению ворчливо, глядя куда-то в угол, по-медвежьки качаясь, бродя по комнате в опущенных штанах, в заношенной косоворотке, набивая машинкой папиросы. И все хмурил свои большие брови, чувствуя, вероятно, до чего даже и наружность его может потягаться с толстовской наружностью, — эти брови, маленькие глазки, огромный лысый лоб, остатки длинных жидких волос, вообще весь его мужицко-патриархальный вид, вид какого-нибудь Псося Псоича, Псося Сысоича (излюбленные имена его героев из стариков).

Ко мне снисходил, даже иногда похваливал. Раз пробормотал:

— Да, ничего, ничего... Последняя ваша вещичка сделала бы честь и более крупному таланту... Писать можно...

Почти всю жизнь прожил в Москве, в Гиршах¹. Бывали у него только его горячие почитатели и единомышленники. Возражений он не терпел. Из писателей более всего были ему милы самоучки.

Ни в чем у нас нет меры, все истерика, жажда довести себя из-за всякого пустяка до отчаяния, вечное недовольство на все, везде и во всем мука, все не так, все ни к черту.

С необыкновенной легкостью впадаем в актерство, в ту или иную роль — особенно на людях, в собраниях. Чувствительны, нервны, самолюбивы, честолюбивы ужасно.

Вот, например, юбилей. Поручили кому-нибудь прочитать телеграмму. И телеграмма-то самая ничтожная: «Пьем здоровье дорогого юбиляра, желаем многих лет столь же славной деятельности» — только и всего. И все-таки тот, кто встал читать, до того взволновался, что побледнел как полотно, задохнулся, руки прыгают... А те пьяные провинциалы в сюртуках, что выступают уже в конце, после всех главных речей, когда уже никто никого не слушает? Боже, с каким надрывом кричат они, с какой гордостью и как витиевато бахвалятся они с дальнего угла стола, именуя себя «скромными тружениками на ниве народной»!

Русь, Русь, блаженная, еще не прожившая своих сказочных времен
Русь...

Вспомнился Елец, представилась Черная Слобода, бесконечный летний день... Весь день сидит некто босоногий и распоясанный возле своей разваливающейся хибарки, на гнилой лавочке. Мог бы хоть немного починить эту хибарку. Но нет, — лень, блаженная, дремучая. И весь день сидит и занимается с каким-нибудь рыжим кобельком.

Парижский архив Бунина. Впервые: «Возрождение». Париж, 1926, № 235, 23 января. Печатается по этой публикации.

¹ Гирши — дешевые меблированные комнаты Гирша в Москве на Малой Бронной ул.; здесь жили студенты, мелкие чиновники, мастера.

〈ЗАПИСИ〉

Могила Мопассана на новом кладбище Монпарнаса, отделенном от старого узкой улицей Костанди, — вернее, проходом между двумя стенами этих кладбищ. Решетка, могила без бугорка, на уровне земли. Едва нашел эту могилу. Как всегда все стоят над могилами, стоял с тупым удивлением: как, это тут, под моими ногами, его кости, его череп — скелет того, кто когда-то и т. д.

«Guy de Maupassant. 1850—1893».

Невероятно!

И уже всеми давно забытая, никому не нужная могила!

Умерла 24 лет, через полгода после свадьбы.

Днем гуляла, ходила в лес, была оживлена. Вечером боль под правой лопаткой — воспаление легкого, 40,5; 41,3...

Лежала с закрытыми глазами, рот опекался, голос невнятный, дыхание трудное...

В день смерти жалостно плакала, обнимая склонившегося к ней молодого мужа, потом сказала едва внятно: «умираю...»

Дыхание было так трудно, что приподняли, наклали за спину подушек, — полусидела с закрытыми глазами, поражая всех своей худобой. Вздохи были все реже, потом икнула — и стихла. Голова склонилась на сторону, лицо покорное, истрадавшееся. Поцеловали в лоб и положили на подушки.

Вечер его смерти. Уже темнеет. В усадьбе чернеет за домом сад, за садом золотистое зарево восходящего месяца, сквозящее в черноте деревьев. На крыльце дома (в котором он уже лежит наряженный на столе в зале) сидят в тусклом сумраке и тихо переговариваются горничные.

Ночью, в освещенном тихим и безразлично печальным месячным светом саду, жалобно, однообразно кричит совка.

На скамье в аллее тихий женский голос:

— Вот так-то и мы помрем...

Он, закуривая цыгарку, беззаботно:

— Я этого ничего не боюсь!

— А я страсть их боюсь, этих покойников, — отвечает она, наслаждаясь своим страхом. — Теперь шесть недель не буду ночевать в доме. И днем, и то страшно будет, как глянешь в этот угол, где он лежал...

Одна из самых счастливых ночей их.

День похорон совсем белый от густого утреннего тумана, за которым ничего не видно в двух шагах.

Туман оседает каплями на ветвях, жемчугом на осенней паутине — уже пригревает сквозь него солнце.

Париж, сентябрь, погода милая, теплая, солнечная.

Церковь на rue Dagu, спокойные, легкие похороны.

Покойник был холост, одинок, незначителен, в церкви всего несколько человек его знакомых; ни слез, ни рыданий.

Певчие пели с беспечной, приятной грустью, без напряжения и щегольства.

Отпели, увезли. С удовольствием, чувствуя себя ровно, хорошо, Н. пошел пешком домой.

Уже много сухих листьев на тротуарах, на бульварах.

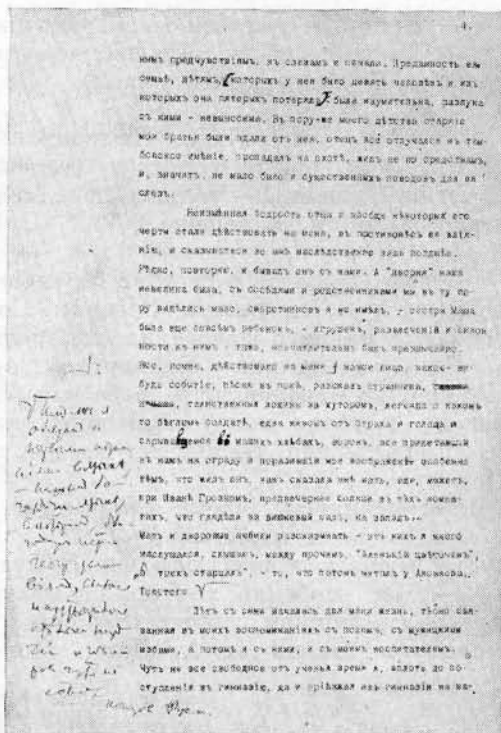
«АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА»

Машинопись с авторской правкой, 1915

Лист 4.

На полях — вставленный Буниным текст о том, что он обязан матери и дворовым «первыми познаниями в языке, — нашем богатейшем языке, в котором, благодаря историческим и географическим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси»

Музей И. С. Тургенева, Орел



Париж поет автомобилями. Начинает счастливую осень, все четыре миллиона живущих в нем хотят счастья, удовольствий... Его в Париже уже нет, он уже всеми забыт...

— А будет день, и меня принесут сюда, и так же будет народ вокруг моего гроба и на паперти и во дворе. Невероятно, непостижимо, но непременно будет. А уж самое непостижимое, что, зная все это, все-таки совершенно тупо думаю об этом и совершенно беспечно живу, внутренне не верю в это, а главное, что никогда и никто в мире не признавал смерть чем-то законным!

Медленно, черным потоком текущая по улице за катафалком толпа. Жгучее солнце, духота, заходит гроза. Каміон-водовоз поливает улицу — улица дымится, противно, тепло пахнет...

Потом будет долгий путь на кладбище, бесконечный.

Бесконечно страшна жизнь.

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1959 г. в Нью-Йорке. Печатается по тексту этой публикации.

КРЫМ

За окнами пустого, тихого дворца светлая зелень шелковицы. Водоем без воды.

— Тут купались султанские жены. Это меня волнует. Вот по этому мраморному полу они ходили маленькими босыми, белыми ногами...

— Не смей думать о них!

— Не буду, не буду. Да они, верно, босиком и не ходили. В деревянных сандалиях, я думаю. Хотя это тоже неплохо.

— Как тебе не стыдно говорить мне это!

— Да я же шучу. Лучше посмотри — вот он, знаменитый «Фонтан слез»... (Сюда стихи Пушкина).

Мертвое Чуфут-Кале. Помпея.

Потом пещерный город в лесистых горах. Ездили туда верхами. Пустыня, тишина, — только переливчатое пение дроздов... Кости на вершине сопки, в пещере...

Белый, веселый, с светлой зеленью Севастополь. Завтрак в гостинице на мысу у моря. Бычки. Зеленки. Сон. Выехали перед вечером, наняв до Ялты парного извозчика под белым зонтом.

Ночь в гостинице у Байдарских ворот. Ужин. Прогулка за воротами. Лунная, но неясная ночь, небо как бы в легком пару. Мертвая тишина, далеко, глубоко внизу шум моря, кипит у берегов серебро...

И еще тысячи, тысячи лет все так же будет кипеть и шуметь... Зачем? Почему?

Остановились. Обнял, глядя ей в лицо в лунном свете.

— Ты меня любишь?

— Люблю, и всю, всю жизнь буду любить! А ты?

— Мне особенно хочется побывать с тобой в Гурзуфе. Прежде, во времена Пушкина, лучше говорили: Юрзуф. Был я там еще в ранней молодости, ходил на Аю-Даг... Молодой, одинокий...

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы...

Две строки — и целая дивная картина!

Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы...

Что ни слово, то волшебство.

— Прочти все до конца. Я тоже ужасно люблю это.

Стал читать и побледнел, когда дошел до седьмой строфы:

Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя...

Одна из самых нежных и страстных ночей в этой маленькой деревенской гостинице у Ворот. На заре, как молодые петушки, кричали орлята. Бледность и свежесть утра в окно, закрытое только сквозными ставнями.

— Проснулась? Селям алейкум, радость моя! Это по-татарски — здравствуй, значит. А ты должна сказать: Садбул, то есть будь здоров. Или: Кошкильды! — добро пожаловать!

Она потянула его к себе, шепча:

— Кошкильды...

— Якши, якши!

— Погоди, я получше лягу... Что значит — якши?

— Это значит — ладно... Поцелуй, поцелуй меня.

За чаем. Она смеялась:

— Якши! Ну скажи еще что-нибудь по-татарски.

— А еще я ничего не знаю. Знаю «чурек» — это лепешка из кукурузной муки. Еще чувяки...

— Ну это и я знаю. Это мягкие туфли без каблуков.

— А пешкет? Вот и не знаешь. А это значит подарок. Еще знаю — гурда.

— Что это — гурда?

— Старинная очень ценная шашка. Ла Илляр иль Алла! А по-арабски немного иначе: Ла Илаха илла-ила! Это значит нет бога, кроме бога. А теперь татары празднуют байрам, самый большой мусульманский праздник. Как раз теперь в начале сентября.

— Ах, какой ты умный! Ну пойдя ко мне!

И, вскочив на колени к нему, обвивает его шею руками и прижимается щекой к щеке.

— Тебе хорошо со мной, радость моя?

Передохнув от счастья:

— Так хорошо, так хорошо! Ля Иллях... Нет никого кроме тебя, тебя!

— И не будет?

— Нет, нет, никогда! А у тебя?

— Это я уже говорил тебе. «А в повторении нет пользы», — как говорила Шахеразада.

— Есть, есть, есть.

Муэзин был противный мальчишка. Красавчик. Совершенно девичье лицо.

У старика татарина глубокие глазницы, как у старой лошади.

Невысок, кривоног, крепок, широкозад.

Куртка из грубой шерсти. Мотня шаровар, очень узких внизу — на голених и щиколотках. Шерстяные чулки, бабуши из цельной кожи.

Кумган — татарский глиняный кувшин, высокий, с узким горлом. Даже в самые жаркие дни вода в нем всегда холодная.

Неподвижная горячая жара, ослепительно белая глубокая пыль дороги, скрипучая мажара.

Жаркая, радостная, в горах молчаливая осень...

— А потом, друг мой, будет Москва, холодный дождь и крупа — сечет по верху пролетки, по прижатым ушам, по седелке бокастого с обтрепанным хвостом извозчичьего мерина-барабана.

Парижский архив Бунина. Впервые опубликовано в 1959 г. в Нью-Йорке. Печатается по тексту этой публикации — с исправлением опечаток.

Наброски неосуществленного рассказа.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОИХ РАССКАЗОВ

«Гоца я задумал писать в Индийском океане по пути на Цейлон, но написал только начало. Как странно!» — сказал Ян задумчиво.

22 июля 1953 года ¹

«Братья». После путешествия на Цейлон хотелось написать. У нашего тамошнего консула была, слышал там, молоденькая любовница сингалезка. Всю историю рикши выдумал, вспоминая это.

«Соотечественник». Написал, опять вспоминая Цейлон и некоторые черты тамошнего русского консула.

«Метеор». Не спал ночь (с 27 на 28 декабря 1920 г., в Париже), лежал в постели, уже выздоровев после долгой болезни, но все еще лежа, вспомнил Рождество в России, вспомнил почему-то Орел, рошу невдалеке от него... Все остальное выдумал.

⟨1.⟩ «Кавказ». Написал этот рассказ, вспомнив, как однажды — лет сорок тому назад — уезжал из Москвы по Брянской дороге с женой одного офицера, с которой был в связи и которую он провожал на Брянском вокзале в Киев, к ее родителям, не зная, что я уже сижу в поезде, еду с ней до Тихоновой пустыни. Это была очаровательная, веселая, молоденькая, хорошенькая женщина с ямочками на щеках при улыбке, решительно ничем не похожая на ту, что написана в «Кавказе», сплошь, кроме воспоминания о вокзале, выдуманном; на Кавказском побережье я тоже никогда не был, — был только в Новороссийске и в Батуме, видел прочее побережье только с парохода.

⟨2.⟩ «Кавказ». У меня много лет тому назад была тайная связь с одной молодой женщиной, женой офицера, чрезвычайно ревнивого. Она однажды поехала на юг, к своим родным, и я провожал ее до половины ее пути точно так, как это рассказано в «Кавказе». Женщина эта была на редкость очаровательна, ей было всего двадцать два, двадцать три года, она была небольшая ростом и такая живая, милая, легкая характером, что я другой такой не встречал; в полную противоположность той, что в моем рассказе. Отсюда и все прочее, что выдумано в нем, чем он кончается. А муж ее вполне мог застрелиться именно так, как в рассказе, если бы узнал про ее измену.

«Визитные карточки». В июне 1914 г. мы с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля. И вот в первый же вечер, после ужина, когда брат гулял по палубе, а я сидел под окном нашей каюты, ко мне подошла какая-то милая, смущенная и невзрачная, небольшая, худенькая, еще довольно молодая, но увядшая женщина и сказала, что она узнала по портретам кто я, что она «так счастлива» видеть меня. Я попросил ее присесть, стал расспрашивать, кто она, откуда — не помню, что она отвечала, — что-то очень незначительное, уездное — стал невольно и, конечно, без всякой цели любезничать с ней, но тут подошел брат, молча и неприязненно посмотрел на нас, она смутилась еще больше, торопливо попрощалась со мной и ушла, а брат сказал мне: «Слышал, как ты распускал перья перед ней, — противно!»

Все это я почему-то вспомнил однажды четыре года тому назад осенью и тотчас...

«Второй кофейник». Сплошь выдумано. Не раз думал написать нечто вроде «Записок художника», в воображении мелькало то то, то другое, отрывочно. Мелькнуло как-то то, из чего выдумался «Кофейник».

ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 14, л. 1—25. Записи к 17 рассказам — автографы, черновые и беловые, и машинопись (частично с авторской правкой). Прислано В. Н. Буниной с сопроводительной запиской: «Я посылаю большинство в подлиннике, но несколько напечатаны на машинке под диктовку Ивана Алексеевича, когда ему уже было трудно писать. Переписала и то, что написано было уже большой рукой». В 1958—1959 гг. В. Н. Бунина опубликовала эти записи в Нью-Йорке — с включением заметки «Братья», которой нет в ЦГАЛИ. Часть записей напечатана неточно или в других редакциях.

11 записей были опубликованы П. Л. Вячеславовым в газете «Литература и жизнь» (1960, № 92, 5 августа) и по этой публикации (без обращения к архивному первоисточнику) воспроизведены в Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 368—373. Судьба архива

П. Л. Вячеслава после его смерти остается неизвестной. Но можно думать, что он располагал копией с автографа, которая могла быть прислана ему В. Н. Буниной — он переписывался с ней и получал от нее различные бунинские материалы. Копия была по-видимому, неполной. Кроме того, сличение текстов, напечатанных Вячеславовым, с подлинными текстами, находящимися ныне в ЦГАЛИ, обнаруживает ряд мелких и более значительных неточностей в его публикации. Мы приводим далее наиболее существенные из этих неточностей.

Запись «Господин из Сан-Франциско» точно воспроизводит текст авторизованной машинописи (л. 3), но к нему произвольно добавлены строки (т. 9, стр. 369, строки 1—7 сверху) из черного автографа той же записи (л. 2—2 об.).

В записи, начинающейся словами: «С. Васильевское, 23 июля 1916 года» (т. 9, стр. 370) в публикации опущено 16 строк (две строфы) стихотворения «Игроки» — из них воспроизведена только первая строчка.

Начало записи «Про обезьяну» (позднейшее заглавие рассказа: «Молодость и старость») читается в автографе так: «Слышал рассказ о сотворении человека от проводника в Константинополе в 1903 году» (л. 12). В публикации ошибочно напечатано: «в 1913 году».

Листок с записью «Темные аллеи» начинается тремя заголовками: «Происхождение моих рассказов», «Сборник „Темные аллеи“», «Рассказ „Темные аллеи“» (л. 14). Очевидно, это было первое обращение к заметкам комментируемого цикла.

В заметку «Баллада» (л. 15—16 об.) Бунин не вписал год создания рассказа. В публикации этот пропуск обозначен многоточием (т. 9, стр. 372, строка 2 сверху). Между тем, год может быть легко восстановлен по дате первой публикации рассказа в «Последних новостях». В дальнейшем это место следует печатать так: «Как-то в начале февраля <1938> года, в Париже...»

Печатный текст записи «Муза» соответствует (с мелкими неточностями) беловому автографу (л. 21). Но к нему присоединен неполный текст черного автографа (т. 9, стр. 372, последние 11 строк). Отметим попутно, что в опущенных частях черновика есть еще строки, существенные для истории работы Бунина над этим рассказом: «Не думал [не знал], чем, как кончить [эту] это неожиданное, страшное и блаженное событие в полудетской жизни милой, жалкой девочки, столь чудесно и тоже совсем неожиданно выдуманной, но чувствовал, что надо непременно кончить как-то хорошо [ловко, трогательно], пронзительно, — и вдруг, не думая посчастливилось кончить именно так» (л. 19 об.).

Запись «Степа» имеется в трех редакциях: машинопись с авторской правкой (л. 17), черновой автограф (л. 16 об.) и карандашный черновой набросок (л. 18—18 об.). Публикация Вячеслава представляет собой произвольное объединение всех трех редакций: первые 12 строк (т. 9, стр. 373) точно воспроизводят текст машинописи; следующий абзац (строки 13—18) внят из черновика; последние строки (19—22) — из карандашного наброска, причем из того места, где речь идет не о рассказе «Степа», а о происхождении «большинства» рассказов Бунина. На этом примере особенно наглядно обнаруживается неправомерность использования коптированного текста в публикации П. Л. Вячеслава, некритически повторенной в Собр. соч. 1965—1967.

В настоящую публикацию включено семь записей, не вошедших в Собр. соч. 1965—1967. Шесть из них печатаются по подлинникам ЦГАЛИ, одна — «Братья» — по тексту публикации В. Н. Буниной.

¹ В публикации В. Н. Буниной другое окончание записи. После первой фразы следует: «Озаглавил этот рассказ „Песня о Гоце“. Написан он в марте 1916 года в Васильевском».

² Это другая редакция записи «Кавказ», которая была напечатана В. Н. Буниной.